

Меланхолия разума

A golden, ornate mirror stands in a dark, shadowy forest. The mirror's reflection shows a serene landscape with a calm lake, distant mountains, and a bright sunset or sunrise with golden light and scattered clouds. The scene is framed by the dark silhouettes of trees and foliage.

КАЛИГУЛЯТОР .

18+

КАЛИГУЛЯТОР .

Меланхолия разума

<https://litres.ru/74187723>

SelfPub; 2026

Аннотация

Бывший математик Алексей Морозов добровольно запирается в квартире, пытаясь вывести формулу счастья и доказать, что осознанное существование делает его невозможным. Чем глубже он погружается в анализ собственного разума, тем сильнее отчуждается от мира, теряя способность чувствовать, говорить и узнавать себя в зеркале. Но рутина изоляции разрушается случайным вторжением реальности — сантехником, чинящим трубу, и первым за два месяца выходом на улицу, где чужое счастье причиняет ему физическую боль. Пройдя через диалоги с воображаемым Собеседником, сожжённые письма близким и полную деперсонализацию, герой наконец перестаёт искать ответы и просто принимает пустоту внутри себя. Он обнаруживает, что ноль — это не поражение, а бесконечный потенциал, начало всего, и что для жизни не нужны доказательства. Роман заканчивается тихим освобождением — решением завтра снова пойти в парк, сесть на скамейку и просто дышать, без теорий, без формул, без страха.

КАЛИГУЛЯТОР .

Меланхолия разума

Глава 1. Теорема невозможности счастья

Он проснулся ровно в 6:47, хотя будильник стоял на 7:00. Тринадцать минут — это погрешность, которую его мозг не мог себе простить, но и не мог исправить. Алексей лежал неподвижно, глядя в потолок, на котором трещина повторяла карту неизвестной реки. Он подумал, что если бы существовала математическая модель пробуждения, она обязательно включала бы коэффициент гравитации, прижимающий веки к подушке, и переменную, означающую количество мгновений, необходимых для того, чтобы вспомнить, кто ты такой.

Вспомнил. Алексей Морозов, сорок два года. Кандидат физико-математических наук. Автор семнадцати работ по теории динамических систем, две из которых цитировали — один раз по ошибке, второй раз чтобы опровергнуть. Преподаватель, уволенный за «чрезмерную требовательность к формулировкам» два года назад. Сейчас — никто. Или, как он сам себя называл, «наблюдатель за собственным распадом».

Он сел на кровати. Ноги коснулись холодного пола, и это ощущение было единственно истинным, потому что его нельзя было оспорить. Холод. Точка. Всё остальное требова-

ло доказательств. Любовь? Недоказуема. Надежда? Противоречит второму началу термодинамики. Счастье?

Он усмехнулся и потянулся к блокноту на тумбочке. Почти каждый день он записывал в него аксиомы своей жизни, пытаясь вывести из них непротиворечивую систему. Утро не было исключением.

Он написал:

Аксиома 1. Существование субъекта не является необходимым условием для существования мира.

Аксиома 2. Стремление к счастью есть частный случай стремления к гомеостазу.

Аксиома 3. Гомеостаз в сознательной системе достигается только при отсутствии внешних возмущений.

Следствие. Счастье достижимо только в состоянии полной изоляции, которая сама по себе является формой смерти.

Он посмотрел на написанное. Следствие казалось безупречным. Он подставил под него свои переменные: квартира на седьмом этаже, железная дверь, запертая на два замка, шторы, не пропускающие свет, телефон, отключенный уже месяц. Он был близок к гомеостазу. Почему же тогда в груди, чуть левее центра, разрасталась тягучая, как ртуть, пустота?

Алексей встал и подошёл к зеркалу. В отражении был мужчина с серым лицом и глазами, которые смотрели на мир с такой интенсивностью, словно пытались разобрать его на атомы. Он провёл пальцем по стеклу и написал формулу:

$$E = mc^2$$

И зачеркнул её. Не потому что она была неверна, а потому что она была красива, а красота — это ловушка для дураков. Природа не эстетична. Природа равнодушна. Он провёл пальцем дальше, стирая буквы.

— Ты думаешь, — прошептал он своему отражению, — что если поймёшь всё до конца, то станет легче? Ты ошибаешься. Понимание — это тяжкий труд. Счастье — это привилегия тех, кто не задаёт вопросов.

Отражение молчало. Алексей отошёл к окну и отдернул край шторы. Город за стеклом лежал серый, плоский, как лист металла. Люди внизу двигались с ускорением, которое можно было просчитать по их шагам и наклону голов. Он видел их траектории: женщина с собакой — движение по спирали, мужчина с портфелем — прямолинейное равноускоренное к остановке. Каждый из них был уверен, что делает выбор. Каждый ошибался.

Он попытался представить себя на их месте. И не смог. Тело отказалось проецировать сознание в эту суету. Его мозг словно покрылся тонкой плёнкой, которая отделяла его от мира на расстоянии, не измеряемом метрами. Это было хуже одиночества. Это было одиночество в квадрате, возведённое

в степень абсолютного понимания: он знал, что никто не способен его понять, потому что он сам перестал понимать себя.

Он вернулся к блокноту и дописал внизу страницы:

«Теорема невозможности счастья: Для любого субъекта (S) и любого состояния (C) утверждение «S счастлив» истинно тогда и только тогда, когда S не осознает своего существования. Осознание бытия создает наблюдателя, а наблюдатель искажает результат. Следовательно, счастье возможно только для того, кого нет».

Он захлопнул блокнот. Ручка выпала из ослабевших пальцев и покатилась по полу, описывая дугу, которая с геометрической точностью повторяла траекторию падения его собственной жизни.

Он лёг обратно на кровать, уставившись в карту трещины на потолке. Уравнение было решено. Ответ получен. В теории всё сходилось.

На практике в груди у него болела пустота, и он уже не мог отличить эту боль от себя самого.

Он закрыл глаза. Город за окном продолжал своё равноускоренное движение к никуда. Вода в трубах гудела, как кровь в венах мёртвого гиганта. А Алексей лежал и считал собственные вдохи: один — доказательство бытия, два — опровержение надежды, три — и все промежутки между ними, заполненные той самой меланхолией, которую он так элегантно назвал «побочным эффектом ясного мышления».

На самом деле это был просто страх. Самый простой, ба-

нальный, не поддающийся никаким формулам страх перед тем, что завтра он проснётся и ничего не изменится.

Тринадцать минут погрешности. Вечность неопределённости.

Он так и не пошёл завтракать.

Глава 2. Эффект бабочки в замкнутой комнате

Прошло семнадцать дней. Алексей не вёл счёт, но его мозг, этот предательский механизм, фиксировал каждую минуту, даже когда он пытался раствориться в белом шуме безмыслия. Семнадцать дней, четыре часа и двадцать одна минута с того момента, как он последний раз переступил порог своей квартиры.

Он перестал выходить не потому, что боялся. Страх был слишком примитивной эмоцией для того, что с ним происходило. Он просто не видел причин. Зачем выходить, если всё, что ему было нужно для формулировки окончательного ответа, находилось здесь? Восемь квадратных метров комнаты, стол, стул, кровать, окно — вот полный набор переменных. Внешний мир был лишней цифрой в уравнении, которую можно вынести за скобки.

Муха, севшая на стекло, не думала так. Она ползала по неровной поверхности утреннего запотевшего окна, оставляя за собой влажный след, похожий на иероглифы. Алексей сидел на стуле, подтянув колени к груди, и наблюдал за ней уже сорок минут. Сорок минут, если быть точным. Он даже не моргал, боясь упустить момент, когда траектория её дви-

жения — это безумное, хаотичное зигзагообразное мельтешение — вдруг обретёт смысл.

— Ты думаешь, что свободна, — прошептал он. — Ты думаешь, что выбираешь, куда повернуть. Но каждое твоё движение определено температурой воздуха, влажностью, положением солнца, твоим голодом, страхом перед моей ладонью. Ты — идеальный детерминизм в действии. Ты не свободнее пушечного ядра.

Муха остановилась. Потерла передние лапки. И, словно услышав его, резко взлетела, описала три круга под потолком и села ровно на ту же точку. Вернулась в начало. Как будто перечитала предложение, которое не поняла.

Алексей улыбнулся. Впервые за многие дни. Улыбка была кривой, сухой, но она была.

Он встал и подошёл к окну вплотную. Его дыхание затуманило стекло, и он машинально провёл пальцем, стирая влагу. За стеклом город жил своей жизнью, которую он больше не хотел узнавать. Автомобили, люди, деревья, дрожащие от ветра, — всё это было слишком большим. Слишком шумным. Слишком *вероятностным*. Там, снаружи, каждую секунду случались миллиарды событий, которые невозможно было предусчитать. Авария на перекрёстке. Внезапный дождь. Улыбка незнакомца. Предательство. Любовь. Всё это было хаосом, который его разум, воспитанный на строгих аксиомах, отказывался принимать.

Здесь, в замкнутой системе комнаты, правила были про-

сты. Окно. Стол. Кровать. Муха. Он. Пять элементов. И, если подумать, даже муха была лишней. Он мог бы её убить. Прихлопнуть ладонью и свести количество переменных к четырём. Но он не убивал. Потому что тогда система стала бы ещё беднее, ещё тише, а тишина в последнее время начала казаться ему громче сирен.

Он вернулся к столу и открыл блокнот. Семнадцать дней. Блокнот был исписан почти до середины. Уравнения. Доказательства. Попытки вывести формулу счастья, которую он уже опроверг сам себе. Но сегодня он написал другое:

«Вариантов выбора — бесконечное множество. Каждое решение ветвится на новые решения. Чтобы выбрать одно, нужно отсечь все остальные. Но как отсечь бесконечность? Это всё равно что вычеркнуть все числа из бесконечного ряда, оставив только одно. Это невозможно. А значит, любой выбор, который я делаю, иррационален. Я не могу выбрать. Я даже не могу решить, какую рубашку надеть, потому что, надев одну, я предаю все остальные. Паралич воли — это не слабость. Это логический вывод».

Он перечитал написанное. И вдруг ощутил, как комната начала сжиматься. Стены поползли к нему, медленно, неумолимо, как поршни гидравлического пресса. Он знал, что это галлюцинация. Он знал, что стены стоят на месте. Но его грудная клетка сжималась вместе с ними. Дыхание стало поверхностным, частым. Он схватился за край стола, костяшки пальцев побелели.

— Это просто приступ, — сказал он вслух. Голос дрожал.
— Это просто паника. Нет никакой угрозы.

Но его мозг проигнорировал эти слова. Потому что мозг не слушал его. Мозг был занят тем, что просчитывал все возможные варианты его действий в следующие пять секунд. Встать. Сесть. Упасть. Закричать. Умереть. Каждый вариант был равно возможен. Каждый был равно абсурден. Бесконечность обрушилась на него, придавливая к стулу.

Он закрыл глаза и сжал кулаки так сильно, что ногти впились в ладони. Боль, острая и реальная, как спичка в темноте, прорезала этот туман. Он открыл глаза.

Муха всё ещё сидела на стекле. Тихо. Неподвижно. Ждала.

Алексей посмотрел на неё и вдруг понял, что завидует. У мухи не было выбора. У мухи были только инстинкты. Она не мучилась вопросом «зачем лететь?» — она просто летела. Она была свободна именно потому, что не знала о своей свободе. Её траектория была predetermined, и это давало ей покой.

Он — человек. Человек, знающий слишком много. И это знание было его проклятием.

Он медленно подошёл к окну, размахнулся и хлопнул ладонью по стеклу. Не по мухе — рядом. Просто чтобы испугать. Муха слетела, заметалась по комнате, ударилась о стену, о потолок, о книжный шкаф. И наконец, обессиленная, села на подоконник, ровно в том месте, где начиналась рама.

Она могла улететь. Могла вылететь в щель приоткрытой форточки. Но не улетела. Она осталась. В замкнутой системе. С человеком, который знал слишком много, и с бесконечностью, которая не помещалась ни в одну комнату.

Алексей сел на пол, прислонился спиной к стене и закрыл глаза.

— Мы с тобой одной крови, — сказал он мухе. — Ты не знаешь, куда лететь. Я не знаю, куда идти. Разница только в том, что я понимаю эту пропасть, а ты — нет.

Тишина в ответ. Только гул в ушах и где-то далеко, за стеной, звук телевизора соседей — смех, которого здесь никто не слышал.

Он просидел так до вечера. Когда тени удлиннились и комната стала серой, как старое фото, он открыл глаза и посмотрел на муху. Она всё ещё была там. Но теперь она сидела на потолке, перевернутая, как будто мир для неё был только проекцией, в которой не было верха и низа.

Алексей встал, подошёл к блокноту и написал одной строкой:

«Свобода — это осознание того, что выбор невозможен. И принятие этого как аксиомы».

Потом закрыл блокнот и лёг на пол. Смотрел на муху, смотрел на трещину в потолке, смотрел на то, как солнечный луч умирает на стене, отползая к углу.

Завтра будет ещё один день. И он снова не выйдет из дома. И муха, возможно, умрёт от голода, или улетит, или останет-

ся, чтобы свести его с ума своей бессмысленной, механической свободой.

Но сегодня, именно сейчас, в этом неподвижном мгновении, мир стоял на месте. И впервые за долгое время Алексей почувствовал себя не наблюдателем, а частью этой неподвижности. Частью тишины. Частью той самой бесконечности, которую он так боялся выбирать.

Он закрыл глаза и провалился в сон без сновидений, без формул, без вопросов.

И муха всё сидела на потолке, ожидая утра, чтобы начать свой танец заново.

Глава 3. Словарь утраченных смыслов

На двадцать третий день Алексей открыл чистую тетрадь. Не ту, где были формулы, не ту, где он записывал аксиомы, а новую, с белоснежными страницами, которые пахли типографской краской и обещанием порядка. Он решил написать книгу. Не роман, не мемуары — словарь. Словарь всего, что он знал. Своего рода каталог, который должен был остановить распад.

Он сел за стол, взял ручку и написал первое слово. Первая буква алфавита. «А».

И замер.

Ручка зависла над бумагой. Он знал сотни слов на «А». Абсолют. Ад. Ангел. Античность. Апокалипсис. Автомобиль. Апельсин. Апатия. Но каждое из них, когда он пытался сформулировать определение, ускользало, рассыпалось в

пальцах, как сухой песок.

Он попробовал написать: «Абсолют — то, что существует независимо от восприятия». Но потом подумал: а существует ли вообще что-то независимо от восприятия? Квартира существует, пока он её видит? Муха существует, пока она ползает? А если он закроет глаза, перестанут ли стены быть твёрдыми? Или они просто станут неизвестными?

Он перечеркнул написанное и написал новое определение.

«Абсолют — иллюзия стабильности, созданная разумом для самоуспокоения».

Тоже нет. Слишком умно. Слишком красиво. Абсолют не может быть красивым. Абсолют — это то, что остаётся, когда заканчиваются все слова. Но у него не было слов.

Он перевернул страницу. Написал «Б».

«Боль — сигнал о повреждении тканей. Преходящая. Лечимая. Неважная».

Он посмотрел на свою руку. На левом предплечье, чуть выше запястья, был след от старого ожога — он случайно коснулся горячей сковороды три года назад. Тогда было больно. Очень больно. Он помнил эту боль как событие. Но сейчас, глядя на побелевший шрам, он не мог её вспомнить. Он знал, что она была. Он знал определение боли. Но само ощущение исчезло из памяти, как будто его выскребли оттуда ложкой.

«Боль — слово, которое не имеет веса, пока не столкнётся

с телом» — написал он и зачеркнул. Потому что это была ложь. Даже когда боль сталкивалась с телом, она оставалась всего лишь электрическим импульсом. Мозг мог её игнорировать. Мозг мог её преувеличивать. Боль не была реальностью. Реальностью был только импульс, а импульсы можно было просчитать.

Он перевернул ещё страницу. «В».

«Время — последовательность событий, упорядоченная сознанием. Без наблюдателя время не течёт. Следовательно, когда я сплю, время останавливается».

Он усмехнулся. Глупость. Время шло независимо от его сна. Будильник показывал 14:23, и через минуту будет 14:24. Это факт. Но был ли этот факт истиной? Или просто договорённостью, которая облегчала существование в коллективном кошмаре, называемом «обществом»?

Он встал из-за стола. Слова переставали быть словами. Они превращались в набор фонов, в механические вибрации воздуха. Он произнёс вслух: «Любовь». Звук вылетел изо рта плоским, безжизненным. «Любовь», — повторил он громче. Слово ударилось о стену и упало на пол. Беспомощное. Пустое.

Он представил себе мать. Она звонила ему две недели назад. Он не взял трубку. Она оставила сообщение: «Сынок, я волнуюсь. Позвони». Он удалил сообщение, не прослушав до конца. И теперь он пытался вспомнить, что значит «любовь». Это была нежность? Забота? Или просто биологиче-

ская программа, навязанная эволюцией, чтобы обеспечить выживание вида? Он склонялся ко второму.

Алексей вернулся к столу и открыл тетрадь на новой странице. Написал «Л».

«Любовь — форма взаимовыгодного симбиоза, основанная на химических реакциях окситоцина и дофамина. Срок действия — от 18 до 36 месяцев. После этого — привычка. Или распад».

Он прочитал написанное. И ему стало тошно. Не от того, что он уничтожил поэзию, а от того, что это определение было правдой. Он больше не мог обманывать себя. Слова потеряли магию, потому что он знал их механику.

Он захлопнул тетрадь. «Словарь утраченных смыслов» — так он хотел её назвать, — но словарь не получался. Получалась книга разрушений. Каждая буква, которую он писал, отнимала у слова жизнь. Он превращал язык в труп, расчленил его на кости и называл это «анатомией».

Внезапно в голову пришла странная мысль: а что, если все слова были мертвы изначально? Что, если они никогда не имели смысла, кроме того, который люди в них вкладывали? Что, если любовь, боль, надежда, счастье — это просто ярлыки, которые наклеили на пустоту, чтобы не сойти с ума от осознания, что внутри ничего нет?

Он открыл тетрадь на букве «С» и написал одно слово: «Смерть».

Здесь было легче. Смерть была единственной реально-

стью, которую нельзя было опровергнуть. Она была конечной точкой, аксиомой, на которой держалась вся система. Он написал:

«Смерть — единственное событие, которое делает все остальные события значимыми. Без смерти нет жизни. Без смерти нет выбора. Без смерти есть только бесконечное повторение. Смерть — это дар, который мы не умеем принимать».

Он отложил ручку. Комната вокруг начала темнеть. Он не заметил, как прошёл день. Солнце, которое утром заливало подоконник, ушло за горизонт, оставив после себя фиолетовый сумрак. Он не зажигал свет. Он сидел в темноте с закрытой тетрадью на коленях.

— Я не могу написать книгу, — сказал он в пустоту. — Потому что в книге нужны слова, а у меня остались только звуки.

Он вдруг отчётливо понял: он больше не чувствует языка. Когда он думал, в голове проносились не слова, а смутные образы, обрывки формул, иногда — просто ритм, как у незаконченной симфонии. Чтобы говорить, ему приходилось переводить эту внутреннюю какофонию в человеческую речь, и перевод получался неточным, искажённым.

Это было похоже на то, как если бы он пытался описать цвет слепому. Тщетно. Нелепо.

Он зажёл настольную лампу. Жёлтый свет выхватил из темноты несколько предметов: чашку с остывшим чаем, му-

ху (она всё ещё была здесь, сидела на корешке книг), открытую тетрадь на букве «С». Он посмотрел на слово «Смерть», которое написал раньше. И вдруг понял, что тоже не чувствует этого слова. Смерть для него стала просто биологической остановкой. Никакой мистики. Никакого ужаса. Просто конец алгоритма.

— Я — атеист в храме собственного языка, — прошептал он. — Я пришёл помолиться, но забыл все молитвы.

Он взял тетрадь, закрыл её и положил в ящик стола. Не для того, чтобы вернуться к ней завтра — он знал, что не вернётся. Просто чтобы не видеть пустых страниц, которые напоминали ему о том, что он больше не владеет словами. Слова владели им. Или, скорее, они ушли, оставив его безоружным перед мыслями, которые нельзя было выразить.

Он лёг на кровать. Потолок был всё тем же — карта неизвестной реки, трещина, уходящая в угол. Он закрыл глаза, и в мозгу зазвучал странный гул. Это был не шум, не музыка — это был голос его собственного мышления, которое больше не имело словарной формы. Чистая информация. Бесформенная, аморфная, скользкая, как ртуть.

Впервые в жизни он испугался того, что у него внутри. Не пустоты, а наоборот — этой переполненности, которую невозможно было выгрузить. Он был сосудом, наполненным смыслами, но потерявшим крышку. И смыслы вытекали, уходили сквозь пальцы, оставляя на дне только смутное ощущение того, что они когда-то были.

Алексей повернулся на бок и прижал колени к груди — поза эмбриона, поза того, кто хочет вернуться в состояние, когда слов не существовало. Когда мир был просто теплом и ритмом сердца.

За стеной соседи снова смотрели телевизор. Смех. Разговоры. Слова.

Он зажал уши ладонями и прошептал в темноту:

— Я больше не знаю вашего языка. Я не понимаю, что вы говорите. И я не уверен, что хочу понимать.

Муха, услышав его шёпот, перелетела на подушку и села рядом с его рукой. Он хотел её смахнуть, но не стал. Может быть, потому что муха была единственным существом в этой комнате, которое не требовало от него слов.

Она просто была. И это было единственное определение, которое он ещё мог принять.

Он заснул, сжимая в кулаке пустую ручку.

Тетрадь лежала в ящике стола. Слова лежали на страницах.

Мёртвые. Как и он сам, только ещё не знающий об этом.

Глава 4. Диалог с идеальным собеседником

Когда язык умер, когда слова превратились в пустые оболочки, а муха на подоконнике перестала быть событием, Алексей сделал то, чего никогда не делал раньше. Он начал говорить с тем, кого не было.

Это случилось на тридцать первый день изоляции. Он сидел за столом, уставившись в стену, и вдруг услышал голос.

Чистый, ровный, без интонаций, похожий на синтезированную речь из старого научно-фантастического фильма. Голос сказал:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.